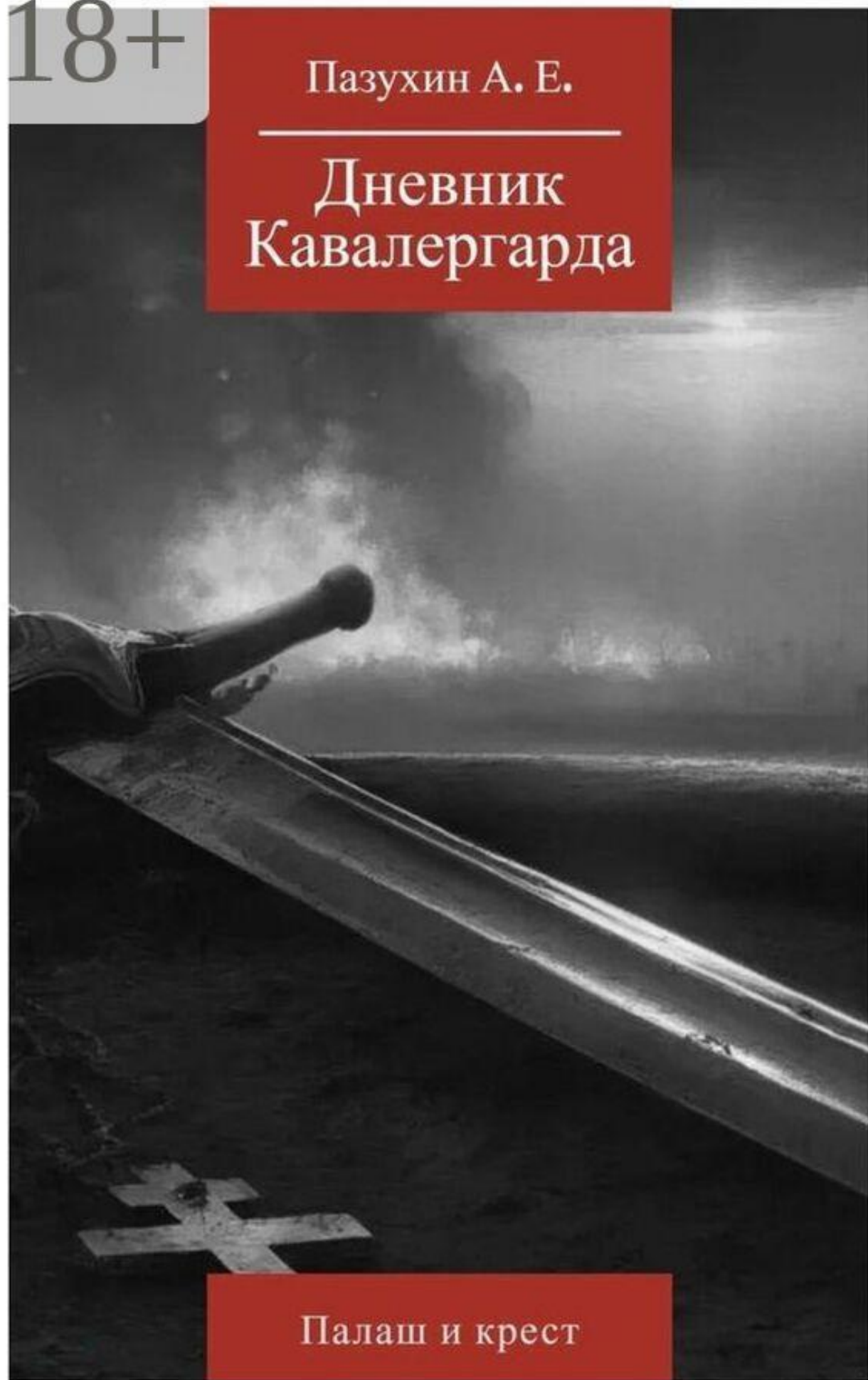


18+

Пазухин А. Е.

Дневник Кавалергарда



Палаш и крест

Андрей Пазухин

**Дневник кавалергарда:
Палаш и крест**

«Издательские решения»

Пазухин А.

Дневник кавалергарда: Палаш и крест / А. Пазухин —
«Издательские решения»,

Дневник кавалергарда, прошедшего Бородино. История о том, как война остаётся в человеке даже после победы, и о тишине, в которой рождается надежда. Психологическая военно-историческая повесть о памяти, любви и возвращении к себе.

Содержание

Предисловие	6
Дневник кавалергарда Палаш и крест	7
Глава 1. Шёпот у костра	7
Конец первой главы.	9
Глава 2. Канун: когда тишина страшнее боя	10
Конец второй главы.	12
Глава 3. Утро, которое не кончается	13
Конец третьей главы.	14
Глава 4. Атака: задержать любой ценой	15
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Дневник кавалергарда: Палаш и крест

Андрей Пазухин

© Андрей Пазухин, 2026

ISBN 978-5-0071-0616-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Я всегда хотел написать книгу, не ради славы, не ради денег. Просто, чтобы однажды сесть и сказать: «Я сделал это. Я дал голос тому, кто молчал внутри меня».

Это дневник, он родился из тишины. Из ночей, когда я не спал и думал о тех, кто не вернулся с войны. Из разговоров с собой, из писем, которые я никогда не отправлял. Из желания дать голос человеку, который прожил тяжелый 1812 год, не как герой с орденами на портрета, а как живой человек, который боялся, любил, терял и снова учился дышать.

Мой герой — кавалергард, прошедший Бородино, Лейпциг и Париж. Он не совершал подвигов в одиночку. Он просто пытался выжить, не потеряв себя. И я пишу о нём не как об идеальном воине, а как о человеке, который учился жить с тем, что не умещается в слова.

Это не учебник истории и не бульварный роман. Это попытка заглянуть внутрь и увидеть, как война остаётся в человеке даже тогда, когда мир возвращается.

Это книга о возвращении. О том, как найти дом после того, как ничья земля стала единственной реальностью.

Может быть, она поможет тем, кто чувствует то же, что и мой герой, потому что годы идут, а война, трагедия и всё, что с ними связано, остаются в человеке иногда навсегда. И если хоть один человек, прочитав эти строки, почувствует, что он не один, значит, книга написана не зря.

Я не знаю, понравится ли это вам. Но я знаю, что это — правда. Моя правда. И правда тех, кто стоял на Бородинском поле и не мог ответить себе на вопрос: «Зачем?»

Спасибо, что открыли эту книгу.

Андрей Пазухин

Дневник кавалергарда Палаш и крест

Глава 1. Шёпот у костра **Бивак под Смоленском, август 1812 года. Три дня до Бородина.**

Эти записи я веду для себя. Для памяти. Для того, чтобы однажды, когда-нибудь, перечитать и понять: было ли всё это на самом деле. Или мне приснилось. Иногда я сам не знаю.

Ночь не пришла. Она навалилась, сырая и тяжёлая, как одеяло, которым накрывают умирающего. Август под Смоленском оказался не ласковым петербургским августом, а злым, промозглым месяцем, пахнущим гарью и гнилым сеном. Мы стояли биваком на пригорке, вёрстах в пятнадцати от города, который уже дымился на горизонте — французы брали его, дом за домом, улицу за улицей. Я смотрел на тот дым и чувствовал, как что-то сжимается в груди. Не патриотический восторг, нет. Просто страх большой, чёрный, бездонный.

Мне девятнадцать лет. Четыре месяца назад я вышел из Пажеского корпуса и был произведён в корнеты Кавалергардского полка. Маменька плакала, когда надевала на меня этот белый колет с серебряным шитьём. Отец сказал: «Не посрами фамилию». А я думал тогда о том, как лихо буду крутить усы на балах, как стану ловить восторженные взгляды девиц в голубых лентах. О том, что придётся рубить живых людей, я не думал вовсе. Глупец.

Теперь я сидел на влажной земле, прислонившись к седлу, и смотрел на огонь. Костер горел скупно — берегли сучья, кругом выжженная степь, леса не осталось, всё пожрала армия. Пахло сырыми овсяными лепёшками, конским потом и тем особенным кислым духом, который всегда стоял над биваком: смесь дыма, прелой шинели и чужой усталости. В отдалении хрипели лошади. Кто-то пел протяжную песню, глухую и тоскливую, на украинский лад.

Я сжимал в правой руке обрывок бумаги — письмо, которое начал писать сегодня утром. «Маменька, если это письмо дойдёт до Вас, значит, меня уже нет...» Дальше шли слова, от которых мне самому становилось тошно: про честь, про долг, про то, что умираю за Веру, Царя и Отечество. Всё это было правдой, и всё это было ложью, потому что главная правда, которую я не смел написать, звучала так: «Маменька, я до смерти боюсь. Я хочу домой. Я не хочу умирать на этом проклятом поле, где даже червидохнут от страха».

Я собрался было разорвать лист, но в последний момент сунул его за обшлаг мундира. Пусть лежит. На всякий случай.

— Пишешь, барон? — раздалось над ухом.

Я вздрогнул. Рядом, бесшумно ступая в своих стоптанных сапогах, стоял вахмистр Егоров. Солдат старый, лет сорока, лицо, изрытое оспой, и глаза цвета утреннего неба — светлые, спокойные, как у человека, который видел уже всё и ничего не боится. Он держал в руке короткую глиняную трубку, набитую вонючим кнастером. От него пахло махоркой и конюшной.

— Так, — ответил я, пряча руку за спину. — Пустое.

Егоров не стал допытываться. Он присел на корточки у самого огня, сунул в угли длинную щепку, раскурил трубку, выпустил облако сизого дыма и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Завтра, сказывают, выступаем. К Гжатску. А там, чует моё сердце, и дадим бой.

— Откуда вы знаете? — спросил я голосом, который сам не узнал — тонким, почти бабым.

Егоров пожал плечами. Плечи у него были широкие, крестьянские, мундир сидел туго.

— Земля гудит, ваше благородие. Это не просто так. Француз ногу наступает — земля стонет. Вы приложите ухо к земле, сами услышите.

Я не стал прикладывать. Боялся услышать то, что нельзя будет забыть.

Мимо прошагал поручик Воронцов, высокий, сухой, с сединой в тёмных бакенбардах, левая рука на перевязи. На Бородине он ещё будет командиром, но пока что мы просто сослуживцы и отношения у нас ровные, без дружбы. Воронцов не любил юнцов. Он вообще никого не любил кроме своего старого гнедого мерина и французского коньяка, который возил в седле в плоской фляге. Увидев меня у костра, он остановился, помолчал, потом бросил:

— Не спится, барон?

— Нет, — признался я.

— И не должно. Перед большим делом никто не спит. Кто спит — тот либо мертвец, либо дурак. Он взглянул на Егорова, кивнул.

— Вахмистр, проследи, чтобы лошади были напоены до рассвета. У француза лошади свежее, наши еле ноги волокут.

— Сделаю, ваше благородие, — козырнул Егоров.

Воронцов ушёл в темноту, и какое-то время я слышал, как хрустит сухая трава под его шагами. Потом всё стихло, только сверчки заливались в ближайшем бурьяне.

Я поднял голову. Небо над нами было чёрным-чёрным, но звёзды висели низко и крупно, как недозрелые яблоки на отцовском дереве. В Петербурге таких звёзд не увидишь — там всё затянуто дымкой и фонарями. Здесь же, в степи, небо казалось бесконечным. И от этой бесконечности становилось ещё страшнее, потому что где-то в этой бесконечности, наверное, есть Бог, но он молчит. Совсем. И не отвечает на молитвы.

— Егоров, — позвал я тихо.

— Чего изволите?

— Вы верите, что мы победим?

Он долго молчал, попыхивая трубкой. Потом сказал, не глядя на меня:

— Я верю, что мы сделаем своё дело. А там как Господь рассудит. Вы, барон, не загадывайте. Живы будем — увидим. А нет — так нам же легче.

— Легче?

— Легче. Солдату что? Убитый — спит. Раненый — мучается. Живой — помнит. Так что самое трудное — это выжить, ваше благородие. Не каждому дано.

Я не понял тогда, что он имел в виду. Пойму через несколько дней, когда буду сидеть на поле, заваленном трупами, и считать, сколько нас осталось.

Мы помолчали. Я смотрел, как тлеют угли в костре, и думал о доме. О маменькиной гостиной с портретами предков. О том, как отец учил меня держать палаш на плацу — сухо, скучно, без всякой мысли о том, что этим палашом придётся рубить живого человека. О Лизавете Аркадьевне, фрейлине с маленькой родинкой у губ, которой я обещал привезти с войны французский платок. Теперь мне казалось, что я не увижу ни платка, ни её самой.

— Егоров, — спросил я опять. — А страшно вам?

Он усмехнулся, показав жёлтые зубы.

— А вы думали, старый солдат железный? Подите вы. Тоже страшно. Только я умею так делать, что страх не видно. Вот и всё.

— Как?

Он затаился, выпустил дым, стряхнул пепел о каблук.

— А так: когда идёшь в атаку, не думай ни о чём. Совсем. Стань лошадьё. У лошади страха нет, есть только команда «вперёд». И когда другие падают, не смотри на них. Смотри на спину переднего. Если упадёт он, смотри на следующего. И руби, руби, руби. Не давай себе остановиться.

Он помолчал, потом добавил, уже тише:

— А после — после уже не страшно. После — пустота. Пустота и слёзы. Но до них ещё дожить надо.

Я вдруг понял, что хочу запомнить этот миг навсегда: костёр, запах махорки, звёзды, спокойное лицо Егорова, тёплый круп лошади, дышащей мне в спину. Всё это — последняя мирная ночь. Последняя, когда я не знаю, что такое картечь, и не видел, как человеку разрывает живот и он ползёт по собственной крови, не понимая, что уже умер.

— Барон, — вдруг сказал Егоров, поднимаясь на ноги. — Вы бы поспали хоть час. Завтра сил много надо.

— Не усну, — ответил я честно.

— А вы попробуйте. Закройте глаза и вспомните что-нибудь хорошее. Дом, например. Собаку. Девку какую. Природа тоже — вон как звёзды светят, чисто для вас. Господь ведь не просто так их зажёт. Чтоб мы видели — красота ещё есть даже на войне.

Он отдал честь и ушёл в темноту, к лошадям. Я остался один.

И тут, в этой тишине, среди дыма и конского запаха, я услышал далёкую музыку. Где-то за холмами, на французских позициях, играл оркестр. Доносилась «Марсельеза» — красивая, гордая, чужая. Её подхватывали сотни голосов. «Aux armes, citoyens!» — «К оружию, граждане!» И мне показалось, что они поют не о свободе, а о моей смерти. О том, что завтра я, Александр Корецкий, буду лежать на траве, и мухи облепят мои открытые глаза.

Я закрыл их сам, чтобы не видеть неба. Сжал кулаки, впиваясь ногтями в ладони. И прошептал в темноту то, чего боялся сказать вслух:

— Господи, если Ты есть... сделай так, чтобы я не опозорился. Не прошу жизни. Прошу только — не дай мне побежать.

Никто не ответил.

Только сверчки, да ветер, да далёкое пение французских солдат.

И где-то там, в глубине моего нутра, скрючившийся комок страха заворочался и затих, притаившись перед прыжком.

Конец первой главы.

Глава 2. Канун: когда тишина страшнее боя

Бородинское поле, ночь с 25 на 26 августа 1812 года. За несколько часов до сражения.

Мы подошли к Бородину на рассвете, но я понял это не по солнцу — его закрыли тучи, низкие, свинцовые, как потолок sklepa. Я понял это по земле. Земля здесь была другая. Мягкая, пахнувшая перегноем и чем-то сладковатым, будто под ней уже лежали мертвецы, хотя бой ещё не начался.

Полк выстроили в резерве, позади Курганной высоты — той самой, где потом будут стоять батареи Раевского. Мы спешили, передали поводья вестовым, и я впервые за несколько дней почувствовал, как дрожат мои ноги. Не от усталости, а от близости того огромного, невидимого зверя, который притаился впереди, за гребнем холма. Его звали Завтра.

Воронцов с перевязанной правой рукой (царапина дала о себе знать) ходил вдоль строя, цепким взглядом проверяя амуницию. Увидев меня, он остановился.

— Ну, барон, — сказал он без обычной насмешки. — Вот и дождались. Завтра — главное дело. Я хочу, чтобы вы знали: в первой линии мы не стоим. Полк кинут в атаку, когда француз пойдёт на батарею.

— Откуда вы знаете? — спросил я. Голос мой прозвучал чужим, сиплым.

— Чувствую, — ответил Воронцов. Он посмотрел на небо, потом на запад, где за лесом клубились дымы французских биваков. — Сегодня ночью не спать. Проверить оружие. Палаш точить, стволы чистить. И не думать о смерти. Думать о ней, всё равно что звать её в гости. Он хотел добавить что-то ещё, но махнул здоровой рукой и отошёл.

Я остался у своей лошади. Граф — так я назвал его в честь отцовского коня, которого оставил дома, — тихо жевал овёс из торбы, иногда поднимая голову и косясь на меня умным карим глазом. Он был гнедым, тяжёлым, с мощной грудью и короткими бабками. Кавалергардская лошадь — не французская вертлявая лошадка, а русская рабочая сила. Но даже он, казалось, понимал, что грядёт нечто небывалое.

Я вынул палаш. Клинок был чист, я протёр его час назад, но всё равно провёл по нему куском сукна. Лезвие отражало серое небо и моё собственное лицо — бледное, с запавшими глазами, с отросшими светлыми усами, которые я так и не научился закручивать лихо. Дома, перед зеркалом, я казался себе красивым. Теперь же видел только страх. Вылитый страх в человеческом облике.

— Ваше благородие, — раздалось за спиной.

Я обернулся. Егоров с неизменной трубкой в зубах, с потёртым седлом в руках. Он выглядел так же, как всегда, будто завтра ему не предстояло идти под картечь:

— Чего вам, вахмистр?

— Седло проверить дозволейте. Ваше новое, казённое, а ремни дублёные, в бою лопнуть могут. Я своим дедовским способом перетяну.

Я кивнул. Он ловко одной рукой расстегнул подпругу, ощупал каждую пряжку. Потом сказал, не поднимая головы:

— Вы, барон, сегодня не ели. Хлеба кусок в ранце лежит. Съешьте. Сила нужна.

— Не лезет, — признался я.

— А вы заставьте. Солдат без еды, что ружьё без пороха. Толку чуть.

Он достал из-за пазухи краюху чёрного хлеба, ещё тёплую, и сунул мне в руки. Я надкусил, жуя насильно. Хлеб был с отрубями, кисловатый, но когда я проглотил первый кусок, в животе словно что-то отпустило. Егоров прав: даже страх легче переносится на сытый желудок.

— Вахмистр, — сказал я, прожёвывая. — Вы молитесь перед боем?

Он усмехнулся, почесал затылок.

— Молюсь, когда спать ложусь. А перед боем некогда. Но вы, барон, если легче станет, помолитесь. Господь, он и лошадей благословляет, и людей. Он затянулся трубкой, выпустил дым вверх:

— Только не просите у Него, чтобы остаться живым. Это не по чину. Просите, чтобы смерти не бояться. Она всё равно придёт, когда надо.

Я посмотрел на запад. Солнце уже клонилось к горизонту, но его не было видно, только багровая полоса в разрыве туч, похожая на свежую рану. Внизу, в ложине, копошились солдаты. Кто-то точил саблю, кто-то правил конскую сбрую, кто-то просто сидел, глядя в одну точку. На лицах не было страха, а была усталость. Такая глубокая, что под неё уже не лезет ничего, даже отчаяние.

Ночь наступила быстро. Без заката, без сумерек, просто небо потемнело, и всё. Откуда-то из русских батарей донеслись редкие выстрелы, пробные, наугад, чтобы обозначить дистанцию. Французы отвечали тем же, и тогда над полем повис низкий, утробный гул, похожий на рёв просыпающегося зверя.

Мы развели маленький костёр, из сухой полыни и берёзовых веток, которые насобирали по оврагам. Я сидел на бурке, поджав ноги, и смотрел на огонь. Воронцов примостился рядом, откупорил свою флягу, сделал глоток и протянул мне.

— Пей, барон. Не пьянства ради, а смелости для.

Я взял флягу. Сделал глоток. Коньяк обжёг горло, растёкся по груди теплом. Я сделал ещё глоток, потом ещё. Воронцов отобрал.

— Хватит. Нам не пьяных хоронить, а стоять насмерть, — сказал он.

— А вы верите, что завтра мы устоим? — спросил я.

Он помолчал, глядя в угли, ответил:

— Устоим — не устоим, а своё сделаем. Наше дело — не победить, наше дело — не отступить. Победит тот, кто дольше простоит. А сколько мы простоим, одному Богу известно. Он поморщился, потирая больную руку и сказал:

— Я в пятом году уже воевал под Аустерлицем. Тогда мы бежали так, что пятки сверкали. А теперь некуда бежать. За нами Москва. Матушка-Москва, церкви золотые. Отдадим — хоть вешайся.

Он замолчал, и в этой тишине я вдруг услышал то, что слышал уже за три дня до этого, под Смоленском. Музыка. Французские оркестры играли «Марсельезу». Но теперь их было много — десятки оркестров, наверное, по всей линии. Гул стоял такой, что земля дрожала. А потом — тишина. Мёртвая, густая, как дёготь.

— Завтра, — сказал я, не обращаясь ни к кому. — Завтра я умру.

Егоров, который возился с лошадьми в двух шагах, услышал и отозвался:

— Может, и нет, ваше благородие. Может, и завтра же убьют. А может, через год. А может, через сорок лет. Не вам решать.

— Легче не становится, — буркнул Воронцов.

— А никто не обещал легкости, — ответил Егоров, и это прозвучало почти грубо.

Я лёг на спину, положив голову на седло. Небо над головой было чёрным, но звёзды, как и под Смоленском, горели ярко. Я попытался представить себе завтрашний день. Как мы выстроимся, как полковник Левенвольде махнёт рукой, как лошади рванут вперёд. Как засвистят пули. Как закричат люди. Я зажмурился, но картинка не уходила — она была выжжена на внутренней стороне век.

— Воронцов, — позвал я шёпотом. — Вы спите?

— Какое там, — ответил он из темноты. — Глаза закрыл, а всё слышу.

— Расскажите что-нибудь. Про жизнь. Про мирное.

Он долго молчал, потом сказал:

— Есть у меня имение под Тверью. Там река такая — Тьма называется. И летом, когда купаешься, вода прозрачная, рыба видна. Дочка у меня, Машенька, ей семь лет. Она когда маленькая была, любила ловить стрекоз. Прибежит ко мне, сжимает кулачок «Папенька, смотри!» — разжимает, а там крылышко. Только крылышко. Стрекоза-то улетела. И она смеётся.

Он замолчал, и я понял, что он плачет. Тихо, беззвучно, по-мужски.

Я не стал ничего говорить. Просто лежал, смотрел в звёзды и думал о своём. О матери. О Лизавете Аркадьевне с родинкой у губ. О собаке Милке, которая ждёт меня дома, положив морду на лапы.

Где-то вдали запел петух. Или не петух — французская труба. Я перестал понимать.

Перед рассветом я всё же задремал. Мне приснился дом. Запах пирогов с капустой. Маменька играет на фортепьяно. Отец читает газету. Я подхожу к окну, а там, вместо сада поле. Бородинское поле. И по нему в тумане идут тени. Много теней. Они машут мне руками и зовут: «Иди к нам, Саша, у нас здесь не больно». Я открываю рот, чтобы ответить, и просыпаюсь от того, что горло сдавило.

Рядом стоял Егоров.

— Вставайте, барон. Рассветает, — молвил он.

Я сел. Небо на востоке серело, обещая день. Холодный ветер принёс запах пороха ещё вчерашнего, пробного. Французские барабаны забили дробь. Им ответили наши.

— Будет, — сказал Воронцов, поднимаясь с земли. — Сегодня будет такое, что внукам расскажут.

Он перекрестился широким крестом, потом сплюнул на землю.

Я тоже перекрестился. Только крест у меня вышел мелкий, торопливый, как у вора.

И вот так, с крестом на груди и страхом в животе, я встретил утро 26 августа 1812 года.

Утро, которое не кончится.

Конец второй главы.

Глава 3. Утро, которое не кончается

Бородинское поле, 26 августа 1812 года. С рассвета до полудня.

Оно пришло не с петухами и не с молитвой. Оно пришло с гулом.

Я открыл глаза и не понял, сплю я или уже нет. Небо было серым, низким, и казалось, что оно опустилось прямо на штыки. Вокруг, в серой мгле, шевелились тени. Это люди, лошади, повозки. Никто не кричал, не суетился. Всё делалось молча, с какой-то страшной, надрывной неторопливостью. Солдаты натягивали мундиры, проверяли кремни, крестились. Кто-то жевал сухарь, запивая из фляги. Кто-то сидел на земле, опустив голову, и, казалось, спал.

Но никто не спал.

Я поднялся на ноги, тело ломило, будто я всю ночь таскал мешки с песком. Глаза слипались, но стоило мне моргнуть, как веки обожгло изнутри. Я подошёл к Графу. Конь стоял смирно, только ноздри его раздувались, и в них, как в кузнечных мехах, ходил тяжёлый, неровный воздух. Я потрепал его по холке — шерсть была влажной.

— Ничего, брат, — сказал я шёпотом. — Ничего, потерпи.

Граф повёл ухом, будто понял.

Рядом завозился Воронцов. Он уже был в полной амуниции: кираса начищена до зеркального блеска, палаш на боку, пистолеты в седле. Перевязанная левая рука торчала из-под мундира как чужеродное дерево. Он бросил на меня короткий взгляд.

— Молись, барон. Через час будет не до того.

Я перекрестился. В этот раз крест вышел шире, осмысленнее. Я даже прошептал те слова, которым учила маменька: «Боже, даруй мне мужество не посрамить оружия русского и знамени полкового». А потом добавил от себя, тихо-тихо, чтобы никто не слышал: «И сделай так, чтобы я не умер сразу. Чтобы успел попрощаться. С маменькой. С Лизаветой. С небом».

Небо молчало.

Вдруг — как обухом по голове — грянуло.

Я подскочил. Сначала показалось, что это земля разверзлась. Потом я понял: это пушки. Не одна, не две — сотни. Тысячи. Они заговорили с востока и с запада, и звук этот был не просто громом, он был чем-то плотным, материальным, как стена, которая движется на тебя и давит грудь. Я открыл рот, потому что барабанные перепонки отказывались верить в такое. Воздух задрожал. Где-то за курганом взметнулись фонтаны земли, дыма, огня.

— Начинается, — сказал Воронцов, и я увидел, как побелели его губы. — Теперь до вечера.

Канонада не смолкала ни на секунду. Она росла, ширилась, перекачивалась с фланга на фланг, и в этом аду я пытался разобрать отдельные звуки: свист ядер, хлопки разрывов, далёкое «ура»: чьё, русское или французское, было непонятно.

Егоров подошёл, держа в поводу трёх лошадей. Он был спокоен, как перед утренней поверкой.

— Наш полк в резерве, ваше благородие. Стоим за курганом. Приказано седлать и ждать.

— Сколько ждать? — спросил я.

— А сколько Господь пошлёт.

Мы сели на коней и двинулись к указанному месту — ложине между двумя высотами. Здесь было чуть тише: холмы прикрывали от прямых попаданий, но земля всё равно вздрагивала каждую минуту. Мы спешили, встали в колонну по четыре. Солдаты молчали. Офицеры тоже молчали. Даже лошади, казалось, притихли, только изредка всхрапывали и переступали копытами.

Я стоял в строю, чувствуя, как по спине течёт пот. Кираса, которая ещё вчера казалась тяжёлой, сегодня приросла к телу, стала его частью. Я сжимал рукоять палаша и смотрел на дым, который клубился над курганом. Там, наверху, умирали люди. Я знал это. Слышал крики, которые доносились сквозь грохот, тонкие, отчаянные, нечеловеческие. И мне хотелось зажать уши, упасть на землю и не вставать.

Но я стоял.

Часы тянулись как дёготь — медленно, тягуче, бесконечно. Солнце поднялось, но его не было видно, только мутное пятно сквозь дымную пелену. Жара стояла невыносимая, хотя было всего утро. Я пил воду из фляги, но она казалась тёплой и горькой. Воронцов, стоявший рядом, вдруг спросил:

— Барон, вы когда-нибудь видели мёртвого?

— Нет, — ответил я честно.

— Увидите сегодня. Много.

Он отвернулся, и я заметил, как дрожит его подбородок. Ветеран, герой Аустерлица, и дрожит. Значит, боялся не только я.

В десятом часу прискакал ординарец, весь в копоти, с перекошенным от крика лицом. Он что-то прокричал полковнику Левенвольде, и я увидел, как полковник побледнел. Потом он повернулся к строю и сказал негромко, но так, что слышали все:

— Господа офицеры! Батарея Раевского атакована. Французские кирасиры прорвались. Наш приказ — идти на выручку.

Сердце моё ухнуло куда-то вниз, в самое нутро. Я посмотрел на Графа — конь стоял неподвижно, только уши его были насторожены. Я посмотрел на небо — серое, низкое, равнодушное. Я посмотрел на Воронцова — тот кивнул, чуть заметно, одними глазами.

— Полк! — голос полковника стал железным. — Равняйся! Смирно!

Мы вскочили в сёдла. Я чувствовал, как дрожат мои колени, как Граф подо мной перебирает ногами, как палаш бьёт по бедру, и как где-то глубоко внутри, на самом дне души, маленький, трусливый голосок кричит: «Не надо, не надо, не надо».

— За мной! — Левенвольде взмахнул рукой. — Марш-марш!

И мы пошли.

Граф рванул с места, и я не успел ни испугаться, ни перекреститься, ни даже подумать. Всё, что было до этой секунды: костёр, письмо матери, звёзды, шёпот Егорова — исчезло, как будто кто-то вытер грязной тряпкой доску, на которой была написана моя жизнь.

Остался только бой.

Конец третьей главы.

Глава 4. Атака: задержать любой ценой ****Бородинское поле, 26 августа 1812 года,*** ***около 11 часов утра. Батарея Раевского.****

Мы вылетели из ложины, и мир перестал существовать.

Я не помню, как мы преодолели первые сто саженей. Не помню, как Граф набрал галоп. Не помню, кричал ли я «ура» вместе со всеми. Всё, что осталось в памяти, это дым. Густой, жёлтый, едкий дым, в котором тонули люди, лошади, пушки, небо. Он забивался в ноздри, в рот, в глаза. Он был живым, он клубился, сворачивался в спирали, расступался на секунду, чтобы показать кусок истерзанной земли, и снова смыкался.

— Господа офицеры! — голос полковника Левенвольде перекрыл грохот. Мы замерли на миг, когда он поравнялся с нашим эскадроном. Лицо его было белым, как мел, но глаза горели. Он продолжил:

— Французская колонна прорвала центр. Если они закрепятся на батарее, армия будет разрезана надвое. Наш приказ — задержать их. Любой ценой. Любой! Дайте нашим пехотным дивизиям время перестроиться. Поняли меня? Задержать!

Он не сказал «победить». Не сказал «отбросить». Сказал — «задержать». И мы поняли. Задержать на своих телах. Задержать своей кровью. Задержать, даже если ни один из нас не вернётся.

— Поняли, ваше высокоблагородие! — ответил за всех Воронцов, и его голос прозвучал твёрже, чем я когда-либо слышал.

Левенвольде кивнул, развернул коня и встал во главе полка. Я видел его спину — прямую и непоколебимую. Он знал, куда ведёт нас. Мы все знали.

— С Богом! — крикнул он. — Марш-марш!

Граф рванул с места, и я не успел ни испугаться, ни перекреститься, ни даже подумать.

Впереди, сквозь дымную пелену, проступила французская колонна. Это было не просто построение — это была стальная лавина. Кирасиры в синих мундирах с красными султанами шли плотным строем, пушка за пушкой, сабля за саблей. За ними — пехота с длинными ружьями, ещё дальше — артиллерия, которую французы уже тащили на батарею. Если они закрепятся, если успеют развернуть орудия на высоте, всё. Русская армия лишится центра, и дорога на Москву будет открыта.

— В лоб! — крикнул кто-то слева. — Бьём в лоб! Ни шагу назад!

Мы ударили. Не с фланга, не в обход — в лоб, в самую гущу, в то место, где колонна была самой плотной и самой сильной. Это было безумие. Это было самоубийство. Но именно этого требовал приказ: задержать, остановить, заставить французов сомкнуться, затормозить их движение, дать нашим батареям и егерям хотя бы полчаса, хотя бы четверть часа.

Я видел, как первые ряды кавалергардов врезались во французскую колонну, как железо заскрежетало по железу, как лошади вздыбились и падали, сминая всадников. Кто-то закричал, кто-то замолк навсегда. Но строй не дрогнул. Ни один из наших не повернул назад.

Мы знали: каждый удар палаша, каждый шаг французской лошади, который мы заставили остановиться, — это секунда, выигранная для русской пехоты. Каждая наша смерть — это узел, которым мы связывали ноги вражеской колонне.

Рядом скакал Воронцов. Его лицо, обычно бледное, сейчас было красным, почти багровым от натуги, от крика, от пороховой гари. Левая рука, перевязанная и прижатая к груди, была черной от дыма. Правой он сжимал палаш, и клинок его мерно покачивался в такт скачке.

— Держись, барон! — крикнул он. — Помни: задержать! Не давай им пройти!

Я стиснул зубы. Задержать. Не дать пройти. Цена не важна.

Мы столкнулись.

Звук был не как удар, а как разрыв. Железо, крики, ржание. Я не успел ни зажмуриться, ни уклониться. Просто выбросил палаш вперёд, как учили в манеже, и лезвие во что-то уперлось. В твёрдое, живое, сопротивляющееся. Я рванул на себя и увидел лицо.

Французский офицер. Молодой, лет двадцати пяти, с чёрными усиками, аккуратно подкрученными. На щеке родинка. Глаза синие-синие, как васильки на петербургском лугу. В них не было злобы. В них было удивление. Огромное, детское удивление: «За что?»

Мой палаш вошёл ему в плечо, рассек мундир, кирасу и застрял где-то внутри. Он дёрнулся, выронил саблю, схватился за луку седла. Лошадь его, закусив удила, понесла в сторону, и я выпустил рукоять — так и остался мой палаш торчать из французского плеча.

Я остался без оружия.

Но дело было не в оружии. Дело было в каждой секунде. Я оглянулся — французская колонна остановилась. Совсем. Мы врезались в неё как клин, и она замерла, как живое тело, в которое воткнули раскалённое железо. За нашими спинами, на батарее, русские егеря, которые ещё не отошли, успели перезарядить ружья. Где-то справа подходили наши резервы — я слышал их «ура», далёкое, нарастающее.

— Стоим! — заорал кто-то рядом. — Стоим, братцы! Не пускаем!

Французы опомнились. Их офицеры засвистели в свистки, зазвучали команды. Колонна начала разворачиваться теперь не вперёд, на батарею, а на нас, чтобы смять, уничтожить, прорваться через наши тела.

И мы приняли этот бой.

Воронцов, рубившийся справа, заметил, что я без палаша, и крикнул:

— Хватай пистолет! В седле!

Я сунул руку в кобуру. Пистолет был тяжёлым, тёплым от конского бока. Я взвёл курок, прицелился в первого попавшегося синего мундира и нажал спуск. Осечка. Кремень дал искру, но порох не загорелся. Я выругался.

— Второй! — заорал Воронцов.

Второй пистолет. На этот раз выстрел удался. Пуля ушла куда-то в дым, и из синей лавины донёсся вскрик.

А потом я увидел Егорова.

Он сражался в трёх шагах от меня, крутя палашом так, словно это был не клинок, а цеп. Трое французов наседали на него, но он отбивался, смеялся, что-то кричал. Его лошадь — старая, серая кобыла — вся в мыле, с налитыми кровью глазами, кусала чужого коня за морду. Он не просто сражался. Он стоял стеной. Он загораживал собой проход между двумя сбитыми пушками. Если бы французы прорвались там, они зашли бы нам в тыл.

— Держись, барон! — прокричал он мне, прорубая дорогу. — Я сейчас!

А потом грянуло совсем рядом. Я почувствовал, как воздух стал плотным, как земля ушла из-под копыт Графа, как всё вокруг взлетело вверх: люди, кони, трава. Меня сбросило с седла. Я ударился о землю плечом, и мир погас.

Я очнулся от того, что меня тошнило.

Графа подо мной не было. Вместо седла и тёплой конской спины — земля. Мокрая, липкая, пахнувшая железом и гарью. Я лежал на животе, и левая рука не слушалась — она была вывернута под неестественным углом. Сапог правой ноги наполнился чем-то тёплым и липким. Я пошевелил пальцами — они двигались. Значит, нога цела.

Я поднял голову.

Французской колонны уже не было. Вернее, она была, но не там, где мы её встретили. За время нашего боя подошли резервы, русская артиллерия ударила с флангов, и французы откатились. Мы выиграли время. Четверть часа? Полчаса? Я не знал. Но мы выиграли. Ценой полка.

Поле, насколько хватало глаз, было усеяно телами. Наши и французские, все вперемешку. Кирасы валялись как пустые консервные банки. Лошади лежали на боку, и некоторые ещё дышали, их бока ходили ходуном, а глаза смотрели в небо с такой тоской, что я не мог вынести этого взгляда.

Рядом со мной лежал поручик Щербатов, который вчера смеялся у костра. Теперь его голова была повернута затылком вперёд — так не бывает у живых. А дальше — корнет Оболенский, мой ровесник, выпускник корпуса. У него не было лица. Вообще. Только кровавая каша и два глаза, которые почему-то остались целы и смотрели в никуда.

Вокруг, сколько я видел, лежали французы в синих мундирах. Наши ребята забрали многих с собой. Каждый кавалергард унёс в могилу минимум троих. Так мы платили за каждую минуту, которую задержали колонну.

Я попытался встать. Не смог. Тогда я пополз на четвереньках, перебирая здоровой рукой и волоча перебитую.

— Воронцов! — закричал я. — Егоров!

Тишина. Только далёкая канонада — где-то там, за курганом, бой всё ещё шёл. И стоны. Много стонов. Они поднимались из земли, тихие, надрывные.

Я нашёл Егорова первым.

Он сидел, прислонившись к убитой лошади. Своей старой серой кобыле. Голова его была опущена на грудь, руки сложены на коленях. Из рта торчала трубка погасшая, чёрная. Я пополз, тронул его за плечо.

— Егоров! Вахмистр! Вы живы?

Тело качнулось и завалилось набок. Тогда я увидел пулю. Маленькое, аккуратное отверстие ровно посередине лба, чуть выше переносицы. Ни крови, ни сукровицы — просто дырочка, как от шила. Будто кто-то поставил точку в конце долгого, трудного предложения.

В руке у него был зажат пистолет — второй ствол, которым он не успел выстрелить. Палаш валялся рядом, зазубренный, сломанный на треть. Егоров врубился в колонну так глубоко, что сломал оружие. Но не отступил.

Я сидел рядом с ним, не шевелясь, и смотрел на его лицо. На шрам на щеке. На седые волосы, выбившиеся из-под каски. На руки, мозолистые, солдатские руки, которые ещё вчера чистили моё седло и утешали меня у костра.

— Егоров, — сказал я шёпотом, — вы сделали своё дело. Мы задержали их. Мы дали время. Слышите? Мы не зря.

Он не ответил. Не мог.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.